

Евгений Морозов

О том,
как ты была всегда

стихотворения

Москва

ЛитГОСТ

2019

УДК 821.161.1
ББК 84
М 80

М 80 Морозов Евгений

О том, как ты была всегда / Евгений Морозов. Стихотворения. — М.: ЛитГОСТ, 2019. — 108 с.

ISBN 978-5-600-02306-2

В третью книгу Евгения Морозова вошли стихотворения 2016-2018 годов.

© Морозов Е. А., 2019
© Капович Катя, предисловие, 2019
© Ивкин С. В., обложка, 2019
© «ЛитГОСТ», макет, 2019

ISBN 978-5-600-02306-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ойкумена (или экумена) — греческое слово, означающее «освоенная человеком часть земли». Термин введён древнегреческим географом Гекатеем Милетским. Если для древних греков в какой-то момент истории стало важным отделить изведанный мир от неизведанного, то для русской поэзии это стало важно недавно. Связано это не в последнюю очередь с той зоной свободы, которую даёт слово. Вплотную это также связано с мандельштамовской установкой на поэзию как «ворованный воздух». Периоды нашей жизни — от расцвета к отцветанию — протекают в разных мирах. Если на начальном этапе странствие проходит в «новом» мире, то постепенно со временем, обживая его, поэт окультуривает почву. Природа, посаженная на ней, начинает говорить его странным языком. Только что это была очень дикая, никому не понятная речь, и вдруг её начинают понимать все. Евгений Морозов — такой поэт, обживающий пространство. Стихотворение за стихотворением мы проходим по дворам его мира. Энергетика этих стихов поразительна.

Морозный, трезвый, горный,
тот воздух поутру,
где снег да редкий дворник
скребётся по двору —

за свежесть без причины,
за — из кручины — крик —
рассерженной машины
заводит маховик.

Сегодня вместо слова
лишь небо таково,
что ты любил бы снова
горячий звук его

и словно видишь в оба
дневного хора взрыв,
и словно бы особо
от радости чуть жив.

и т. д.

Пастернак, говоря о поэзии, высказал удивительную мысль: «Волшебство только рядовое, когда его коснётся рука гения». Это сокровенное чувство рядового как волшебного возникает при чтении таких строк Морозова, где точность обработки стиха граничит с физическим ощущением:

В уютной комнатке без обоев
и без мебели — тишь да тьма,
и, наверное, здесь с тобою
мы должны бы сойти с ума,

выражениями простыми
разминая тоску свою,
подбирая иное имя
одинокости на краю.

Как об этом страдал Овидий,
как он высказал, сколько мог,
вместо целого Рима видя
ойкумены песчаный клочок.

Видится при чтении этого небольшого стихотворения и Рим Овидия, и отдалённый край одиночества самого поэта. В метафоре заключён огромный отрезок времени. Она сжата благодаря интенсивному ритму, уменьшена до куска. И как хорошо, что стихотворение, погуляв по околице мира, всё-таки возвращает нас опять в простую комнату без обоев.

Невозможно пройти мимо парадоксальных моментов в стихах Морозова. Парадоксальность — производная новых лексических соединений и синтаксических оборотов. Парадоксальность создаёт ощущение свежести и молодости в стихах, отсутствие уныния и, наоборот, присутствие «детского удивления». Парадоксальность — это тот заряд, который отдаёт юностью и свободой даже во взрослом окультуренном пространстве. Благодаря именно парадоксальности мы видим невозможное как возможное и предметное.

Я зашёл к человеку, встал в дверях —
человек ходил на своих бровях;
смотря, как он бежит по стене,
как он тихо горит, сидит во мне,
как по крику «фас» он встаёт во фронт,
показав язык свой, я понял тут,
что всё это был я и что враньё —
всё безумье крохотное моё.

Книга делится на три части. Во второй и третьей части физическое пространство окрашивается метафизическим светом. И опять же, метаморфоза происходит не благодаря какой-то особой философии, что было бы наносным для очень зрительной поэзии Морозова, а благодаря его особенному, странному языку. Отметим в этих стихах то, что Тынянов называл «теснотой стихового ряда». Под этим следует понимать «мотивированность» образов, которые, несмотря на странность, тем не менее, очень неслучайны:

Я вернулся домой, когда стемнело,
затекло луною, офонарело,
запустило звёздами за окном.
Я хотел какое-то сделать дело,
но сперва прилёг. И забылся сном.

Я не помню всё или помню тугу,
что во сне мерещилось круг за кругом,
что творилось в лунной белиберде,
но когда проснулся, то был напуган
и не сразу понял, кто я и где.

Особенная черта истинной поэзии — передавать напрямую нечто до того, как это понято умом. Ведь возможно, что язык поэзии и есть тот искомый протоязык? Не об этом ли следующие строки, которые как будто сообщают что-то не словами, а цветом и звуком? Не это ли ещё «не понятое умом» подразумевается под «вестью голубиной»? Впечатление такое, что мы узнаём место. О, это удивительное качество стихов — когда, даже не вполне понимая, знаешь всё.

Та дорога с гулким небом,
по какой спешил пешком
в магазин за чёрным хлебом
и за белым молоком,

в пору вести голубиной,
в эру детства и родства —
ты такой казалась длинной
и понятною едва.

Конечно, культурный слой, перепаханный поэтом, велик. В традиционных стихах без этого не обойдёшься. Но всегда в узнаваемое привнесено своё. В его поэзии много лиричности. От этого иномирность кажется очень «домашней» и пронзительной.

Знал да стыл зимою этой
за окном через стекло
дворник-прожитое лето,
дворник-снега намело.

У него была лопата,
спецодежда и сугроб,
и от света до заката
он лопатой этой скрёб.

И как только им сметалось
всё добро, то злей всего
ничего не оставалось,
кроме снега, для него.

Катя КАПОВИЧ

1

**VITA.
БЕЗДНА С ДОЖДЁМ
И КРОВОМ**

* * *

Если снова — креплёные звёзды, взлохмаченный ком прочертившей секунды на фоне, отпетом таком, что, расстрелянный небом у самой домашней стены, понимаешь про Землю, насколько мы ею больны,

то за мячик ребячьего визга на первых порах, за испытанный смехом, но ушлый, о будущем страх не подыскивай слов, не разбрасывай звёздной крупы — о полёте смотрящего глаза и тверди стопы.

В почву вбитая кость, незаживший рубец на губе, невдомёк и прозрачен, ты помнишь ещё о себе, в раскидавшую полночь светящийся звеньями весь там, где гулкое небо с овчинку, ты всё-таки здесь.

За надземную близь, за последнюю с воздухом связь сухопутной извилиной, честно нитью держась, вспоминай, как глядится с балкона и молится тьме, как живётся-поётся, ещё помещаясь в уме.

А за то, что уснёшь и прислышится утренний хор, — позабудешь и выйдешь во двор...

ОБЛАКО. СМЕРТЬ. ЧЕЛОВЕК.

Падко, старательно, невозможно, больно, малиново, молчаливо приходясь спозаранку друг во друге или просвистывая насквозь, на детском облачном полустанке, в кружевах из сна и домашней сказки, у непрочитанных голубых экранов, в торопливых кафе среди дождей, так запальчиво не замечать, не заниматься живучим пламенем, не чуют, не зачерпывать, не касаться, любить-не любить, нести-не вынести — ни друг друга, ни дня обязательства, ни ночи-луны, ни тигра болезни, ни летней реки, ни стены из гипса, ни ошупи вожделения, ни врага.

Я вижу твои утверждающие губы, очередные глаза, принуждённые просьбы, корни ромашек на выбритом пляже, резкий скелет под нерукотворным тестом. Я страшно не знаю, что это такое — стать тобою, чувствовать как ты, быть уверенным в разлагающем безумии, опираться на воздух, освещаться тенью. Я забыл неприютный яблочный запах канувшего в траву насекомого детства, хлебный мякиш родных поручений, молочные стада в безвозвратном небе. Трудно слыть отцом понимания, матерью-совестью, лисой обстоятельств, волчихой, загрызшей книжную рысь, голышом-младенцем, стрельнувшим семенем.

Когда человек вырастает в дерево
и вспоминает свою сердцевину,
бывшую прежней и до рождения,
до зерна в мензурке, до чернозёма,
бог в отставке, он знает свой мозг,
припасённое добро, укоряющие звёзды,
червивые извилины святого забвения,
полыхнувшую по глазам последнюю правду.

Голый безоблачный андрогин,
неотёсанное полено во чреве ствола,
робкий осколок несовпадения,
неостывающее хотение чужого тела,
на свершённую бездну — обрывистый край,
скользкое хождение, эхо в пустоту,
молчаливый ответ того, кто сильнее,
гуще, пружинистей и кромешней.
За оконной вспышкой дохнувшей улицы,
за бесстыжим горизонтом залётных мыслей,
за кручинным пеплом безответных желаний,
у заёмного берега сверхновой земли —
жалко, холодно, фиолетово,
вечно, честно и не по имени
о душевной тишине в саду некошеном
твой силуэт,
твоё звучание.

* * *

Морозный, трезвый, горный,
тот воздух поутру,
где снег да редкий дворник
скребётся по двору —

за свежесть без причины,
за — из кручины — крик —
рассерженной машины
заводит маховик.

Сегодня вместо слова
лишь небо таково,
что ты любил бы снова
горячий звук его

и словно видишь в оба
дневного хора взрыв,
и словно бы особо
от радости чуть жив.

Понятный, будто детство,
молчок подснежных трав —
последнее, но средство
ответить не соврав;

среди холода, где нету
ни речи, ни пути,
возможность — радость эту
за пазуху спасти.

Ещё прилежно ранит,
ещё внутри — согрет —
в крови, в груди, в гортани
невысказанный свет.

За причинённый воздух,
где звёзды пролегли, —
следы ночных полозьев
над трубами вдали.

За то, что это значит,
как не остынет тишь
и новый день так начат,
что чуешь и молчишь...

* * *

Спешный космос, собранный тобой
из попыток речи, — сам собой
продохнул и стал скрипичным звоном.
Я оглох от дома, как любой,
кто не разговаривал с драконом.

Вспоминал, как небо голубо,
приозёрно, смежно и его
жернова подсвеченные грубы,
и следил сквозь пропасть, где всего —
многозвездья хвост и зубы, зубы...

Смерть назад, за воздух не вина,
глиносвод, надтреснут от огня,
от неотдыхающей работы,
так же стыл, сквозь сон себя стремя,
и ещё отваживал кого-то.

За сурьму во взгляде, за провал
млечной зги, где вечно и здорово,
из беды, из гула — я позвал
на извод рассыпанное слово,

за живую прорезь в черноте,
сквозь какую видно много резче,
как уже другие, как не те —
на свету затеянные вещи.

Даже если в пристальной гурьбе
не в подвохе дело, не в обидах —
честное, простое, о тебе
чувство одиночества на выдох,

что и самый взгляд твой — ночь в реке,
сутки прочь с луною налегке,
где искал ты с жадностью и где бы
мог читать на диком языке
туловище с крыльями в полнеба...

О ТОМ, ЧТО БЫВАЕТ С ЛИЦАМИ

Так легко —
сделать родные лица тяжёлыми,
скорбными, жёсткими на ощупь, вчерашними,
искажёнными сиротливой гримасой,
переживающими за себя и твою неправду.

Промасленный, непонятливый зверь,
насмотревшийся фикусов в оконной раме,
протеинового солнца в опрятном горшке,
розового бульона в уютном телевизоре,
кружевных обоев на нищей стене,

ты видишь на этой на самой стене
пряничные маски виноватых желаний,
горестные углы запечатанных ртов,
ямы глазниц с запёкшейся тишиной.

Что такое — лицо человека,
морда собаки, зубоглаз кузнечика?
Зачем, при взгляде на ихнюю рябь,
возникает чувство, что читаешь книгу?

Книгу, в которой размытые буквы,
надорванные страницы, подчёркнутые строки,
за героями которой следишь с интересом,
гадая, как слюбятся они и выживут...

Смотри — я знаю электрические слова,
добровольные кнуты, рукодельные прянички,
чтоб сделать их гладкими и охотливыми,
исказать ещё в неповторимом рычании...

Плодородная слюна капнет с зубов,
младенческий поцелуй затеплеет на щёчке,

отхваченная с мясом, насекомая голова
загрустит в жерновах голубинога сада.

Слово — яблоко с обнаруженной сердцевинной.
Мы видим семена, как не знаем хозяина,
вдохнувшего их в терпеливую почву,
ставшего заряженной костью для мякоти...

Я помню только, что было нигде,
сонно, беспамятно и по-ночному,
жив не по сезону
и одет в тончайшее,
рассвет прорвался, рассыпался смыслами...

Голубинные, цветковые, морские, детские —
из кропотливой весны появились лица,
милые мерцающие юные лица,
подточенные, как скалы, дневные лица...

Был ли я одним из брошенных слов,
слов невпопад, но ставших делом,
породнился с улыбками, от каких пошли
молочные причмокивания, смерть из сердца,

но вы, отеческие корни и дубы,
гроздь побед в убеждённом голосе,
палитра настроения на мыльных пузырях,
плодовитая правда крылатых родственников,

вы-то знаете, вы простите
за то, что слово уже придумано,
сказан — язык,
соблюдены черты лица,
надорвана — выдавшая гул перепонка...

В гневных книгах рассказанных глаз,
в изворотливых складках крепнущей кожи,
в откровенном, как выдох, океане ветров —
поющая нарахват невеличка весны...

* * *

За рассудок непониманья,
за в неясную даль бросок —
это вмёрзшее в землю зданье,
это небо тебе в висок.

За надрыв, из какого станешь
как струна у разбитых клавиш
да гремящий рояль его —
пониманье того, что знаешь
всё на свете и ничего.

«Я тебя...» — и забьются веки,
словно крылышки в первом снеге,
словно флаги по кораблю,
на нечаянном человеке,
говорящем своё «люблю».

Человеку, ему накладно,
человеку — стыднеть в журьбе
оттого, как он непонятно
происходит в самом себе.

Оттого, что его зевоту
разогнало, и потому
не обходится без кого-то,
без кого-то никак ему...

Разве сядет за стол, напишет
на конторском каком листе:
«За молчанье про всё и свыше,
за дрожание в темноте,

за когда-то признанье, где ты
возмутясь, как с плеча рубя,
не простишь, не поймёшь всё это —
я живу. Я люблю тебя».

ЗВУК

Уходя из дома, где тесно зверю,
а в углу гитара да вещи-сны,
я так страшно хлопнул входною дверью,
что оставил в воздухе звук струны.

И пока маячил, стесняясь выпасть
из обоймы, в будничном наяву,
этот звук держался, крутясь и слышась
по безлюдной комнате, на плаву.

Прописной покой наугад нарушив,
он недолго длился наедине,
он ослаб и, ставши всё глуше, глуше,
утонул в нахлынувшей тишине.

Но, наверно, было всё так недаром:
я вернулся, полон колючих чувств,
и заметил тотчас — молчит гитара,
остывают вещи, а воздух — пуст.

И, научен светом его распада,
ни межзвёздной ночью, ни местным днём
я не в курсе, кто он, что было надо,
но с тех пор в тревоге, узнав о нём.

* * *

Только рассядется всё по-домашнему,
с кровом придуманным, трудными пашнями,
буднями-львами, гульбой на гульбе —
гулкое, зоркое, гордое, страшное —
тут начинается прямо в тебе.

Тут принимается, и, чем отчётливей,
не помещаясь, роднее всего —
из одиночества долгий приход его
и безымянное всё вещество.

Это, куда ни прибежешь, наверно,
всё, чем я был до прочтения на свет,
это дыхание, чёрное, первое,
самое прежнее, этого — нет.

Из чистогана имён позаброшенных,
изо всего, что уже сожжено,
рыжего времени, звёздного крошева
будущий ткач ворожит полотно.

И средь бывшего рассеянный гроздьями,
вдруг собираемый в честный узор,
так появляешься ласкою позднею,
голос, вплетённый в натруженный хор.

Песнею песнь, припасённый за теменем,
ищешь от тёмного леса ключи —
почвы под разумом, памяти, имени —
в правду разверстую жадно звучи...

А что тут делать с лесной поговоркою,
тишью домашней и радостью горькою,
жизнью, с которою впредь суждено, —
гордое, страшное, гулкое, зоркое,
самое прошлое — знает одно.

* * *

Оговорчивый текст молитвы
в доверительной стыдобе
по листку, как по зубу бритвы,
иногда я читал себе.

Спотыкаясь в старославянском,
возбуждая свою вину,
растолковывал я пространству
задушевную слабину

и, в конце, где припасть пришлось бы,
сургучовый «аминь» трубя,
что-нибудь вроде личной просьбы
добавлял я и от себя.

Не по писанному в скрижалях,
а о том, как сейчас живу, —
о залётных своих печалях
и несбывшемся наяву.

И молчали в кромешной зоне
не роддом, не кривой погост
и не старец на зыбком фоне —
эпидемия крепких звёзд,

не давая почти ответа,
отчего так беда густа,
намекая на то, что это
предрассветная суета.

И стихала душа, как битва,
и, прощая, была права
унизительная молитва —
несговорчивые слова.

* * *

Ты, народ, что всё пришлый кряжистый
сухожилистый продувной,
прикрывающий лица скважистой
загорелою желтизной,

нагрузи, кто в волнение пристальном
твой цветистый словарь порвёт
из шипящих с беззубым присвистом
и клубящихся вдаль широт.

Я люблю всё родней и спутанней,
как ты дышишь и тащишь впрок
и рысистой порою утренней
натираешь асфальт дорог,

бдишь на стрёме, живёшь с оглядкою,
терпишь смерть, а случись беда,
то с протянутой входишь шапкою
в подающие города.

Пусть из речи и почвы — тело нам,
ты, чей колос и хвост трубой,
что б ни сказано, что б ни сделано, —
уродящийся сам собой;

как бы ни были переполоты
голоса, а душа смурна,
только живы и только молоды
говорящие семена.

A VISITOR

Худой и отроческий, он входил неприметно,
 мягко здоровался, заглядывая в лица,
 интересовался «как жизнь», садился в углу,
 шуршал журналом и тихо присутствовал.
 Не выговаривая толком ни «р», ни «л»,
 он спрашивал просто о делах и о Боге
 и при этом смотрел, как смотрят дети, —
 пронзительно, чисто и без понятий.
 В его живых перламутровых глазах
 дремала вежливость южного моря,
 в его спокойствии просыпалась
 неповоротливость серого камня.
 В семнадцать лет нужно быть шустрее,
 а он был хил и не доवेशивал —
 прыщавая сыпь, короткая стрижка,
 угловатые плечи и пепельный свитер.
 Про него говорили, что он «с задержкою»,
 хотя не дразнили обидными кличками;
 учась в спецшколе, среди буйных сверстников
 он был добрее и бескорыстнее.
 Из трёх сыновей он был за старшего,
 а двое других были так же подстрижены,
 и те же буквы не выговаривали,
 и одевались во что-то серое.
 Разве что младший — смотрел с опаскою,
 более смуглый и как бы напуганный,
 а средний казался бойчее прочих
 и больше с людьми любил разговаривать.
 Они не всегда появлялись по трое,
 чаще — вдвоём и поодиночке,
 молчали, здоровались, не улыбались,
 стояли возле, садились рядышком.
 А однажды в гости пришёл человек
 с красным лицом и в зелёной кофте,
 протянул широкую сильную руку
 и тихо представился: «Я отец».

* * *

В углой комнатке без обоев
 и без мебели — тишь да тьма,
 и, наверное, здесь с тобою
 мы должны бы сойти с ума,

выражениями простыми
 разминая тоску свою,
 подбирая иное имя
 одиночеству на краю.

Как об этом страдал Овидий,
 как он высказал, сколько мог,
 вместо целого Рима видя
 ойкумены песчаный клочок.

Ни про грудь, что ласкал он в полдень,
 ни про то, как бедро крепко,
 а он просто молчит и ходит
 и поныне, и далеко.

И мы целимся, где он скрылся,
 исподлобья в тугой простор,
 а над нами вовсю забылся
 в дикой зелени птичий хор.

Дальнобойному гулу вторя,
 видим дремлющего певца
 и широкое поле моря,
 где изгнанию нет конца.

И что психу — уколы в вены,
 а утопленнику — вода,
 раздвигаются злые стены,
 расступаются в никуда.

* * *

Не за «р» с её рапсодией
 прописной я всё снесу,
 в обречённом слове «Родина»
 заблудившись как в лесу,

не за зелень громогласную
 и чумную белизну
 буду что-то сметь напрасно я
 и испытывать вину:

просто, даже если под руки
 уведут и праздник — весь,
 остаются люди всё-таки,
 остаются прямо здесь.

Не смотри, что азиатчина
 из земли, чья смерть добра,
 воскресая в будни, вкладчину
 продирается с утра —

закипит забота ранняя,
 и, как ни были бы злы,
 будут выстроены здания —
 судьбы, стены и углы.

И средь спеха колыбельного,
 о паях своих трубя,
 позывное слово дельное
 сберегут и для тебя,

а за слово это, станется,
 ты развеешься вдали —
 и вослед тебе потянется
 пуповина из земли.

* * *

Я зашёл к человеку, встал в дверях —
 человек ходил на своих бровях;
 смотря, как он бегаёт по стене,
 как он тихо горит, сидит во мне,
 как по крику «фас» он встаёт во фронт,
 показав язык свой, я понял тут,
 что всё это был я и что враньё —
 всё безумье крохотное моё.

Я размял в ладони дневной цветок.
 Напряжение ветра, тупой поток,
 я клубился кубарем среди трав.
 Я любил когда-то. Я был неправ.
 Там, где прорубь в бездну и полынья,
 я внушил, что всё это был не я,
 и прошибло гончее забытьё
 лишь безумье крохотное моё.

Я затёрся в угол, остыв на том,
 сколько диких басен в лесу густом,
 как петлял в толпе и в речной судьбе
 тех, что «я» твердили, но о себе.
 Я прибил к небу через окно —
 пусть черно и обморочно оно
 и слетится звёздное вороньё
 на безумье крохотное моё,

но когда завяжешься с ним в родстве,
 то не будет пропасти в голове,
 ни того, что манит страшной всего,
 ни безумья прошлого, ничего...

О ТОМ, КАК ЗА ГОРИЗОНТОМ НЕ БОЛЬНО

Понимает ли стрекоза, что она стрекоза,
опасается ли смерти и высоты,
боится ли быстрых лягушечьих языков,
способна ли полюбить облака и озёра?

Знает ли рыба, что значит «холодно»,
чувствует ли таракан, как он тошнотворен,
плачет ли собака над смертью хозяина,
не мешает ли попугаю ощущение клюва?

Ты, о Господи, солнечный крест,
моё оловянное «спаси и сохрани»,
я не в теме, что можно кусать и царапать,
обходиться шерстью, когтями и клешнями.

Быть животным,
быть насекомым —
это, наверное, обратиться в нечто,
поселиться в чужом сыроватом гнёздышке
и не знать, зачем нужно знать о чём-то.

Ты помнишь, как летом ловил червей,
разрывал пополам и насаживал на крючок;
червь исходил переваренной почвой,
мучительной слизью и содрогался.

Бесмысленно говорить, что значит боль,
зачем мы любим и загораемся,
куда угодим в погожий денёк,
где родимся ненастным утречком.

Заткнись и пой,
стой и плыви,
спеши и наблюдай,

плачь и рассеивайся
в налитом грозою весеннем облачке,
в ледяных вершинах непокорённого мозга,
в хрупкой росе застывшего мира,
в созревающей сфере простившего солнца.

Ты, догадавшийся о своём рождении,
знающий строки чужого счастья,
ласковый вепрь неодолимых желаний,
дождливый скиталец круглой природы,
это не ты
и не о тебе.
Это — просто
и не по адресу.

Просто кажется: если напрячься,
если только приложить усилия,
можно увидеть, что брезжит за горизонтом,
за безвозвратной пунктирной линией,
где отдыхают рабочие сновидения,
а лица и судьбы набираются хаоса
и твоему младенческому безумию
совсем не больно не быть на свете...

* * *

Сиротливый нахлебник, единственный сын
из числа, ангелок молодой,
как храбрили тебя средь испуганных спин,
баловали пахучей бедой.

Рослый выкормыш века, крещенская связь
молока и молебной травы,
как ты верил, что люди из теста, родясь,
и добры, и однажды правы.

На рассерженность всхлипа и лёгкость смешка
пробивали тебя и толкли,
недотёпу, кровинушку, недурака,
пассажира последней Земли.

Гнули, гнали, сношали, давали расчёт,
но сквозь всю эту хмарь на краю
видел ты нечто большее, нечто ещё,
чем цепную обиду свою...

Это было как если б, сгорев на корню,
кто-то запросто, без ворожбы
произносит стыдливое имя «люблю»,
а по сути-то клятву судьбы,

и услышавший, видя, как не изменить,
понимает, что жизнь на меже,
для кого ему плакать, смеяться и быть,
и иначе не может уже.

ЧЕЛОВЕК С ГОЛОВОЮ НА КОЛЕНЯХ

В час курносой пропасти да жуткости,
если нет вокруг и сам-один,
у войны былой, у мёрзлой глупости
валенок займи и керосин.

Уж кому — приврать тебе заранее,
чем лечить холщовую беду,
уж куда — смущенье и прощание,
души вслух и годы на ходу.

Человеку, ошущенцу, неучу,
как ни приобщён, причтён и проч.
к добыче добра и ко всеобучу
дисциплины, не о чем помочь.

Гимнастёрку тихо расколдует он,
скуксится, и, сколько ни зови,
будет только крохотно и суетно
на краю несделанной любви,

будет приступ ёлочной знакомости,
штык тревоги, мутные круги
керосина — в сиротливой ёмкости
и собачьих валенок — с ноги.

И за то, что с ветошью болотною
свыкся он, растёкшись на мели,
выйдет корневое и животное
эхо из протянутой земли,

заклубит с ветрами телеграммою,
приголубит всех и никого —
кровное, кондовое, то самое,
нарезное-доброе, его.

* * *

У звезды в реке, у стыда в груди,
у столба прохожего на пути,
у крыла, скребущего в небеси, —
попроси отчаянья, попроси.

Не словами-пряниками — плетью
человека выучи, но возьми;
человека, шаткого до родни,
обмани, зверёныша, обмани.

А когда ершист и присушен — что ж:
пусть увидит он, как пропащий — вхож,
как рядят, о том да о сём дрожа,
два ежа раскрывшихся, два ножа.

И за то, что он из приезжих мест
и незряч окрест, и здорово ест,
в порошковой кровушке да в ночи
замочи, сухарика, замочи.

В мускулистой памяти, где звонки
причашённой совести и тоски,
наобум, нашиворот, как-нибудь —
погуби, родимого, позабуди.

Не смотри, что мучиться день-деньской
и что был он жив и один такой:
в этом разе ты, как во мгле людской,
не один такой, не один такой,

лишь у детства, смерти, творца всего,
у чего угодно — не у него —
у того, что «господи, пронеси»,
попроси прощения, попроси.

* * *

В фибрах ныла, песню танцевала,
выводила голосом, скрывала,
колдовала, подавала знак,
не впускала, знала, что и так...

Бабочка, рубашка из узоров,
дикая струна, звериный норлов,
трепет земляники, зуд житья,
вся как приговор, вся не твоя,

чем взяла, скрутила, доказала,
что не всё распробито, что мало,
что нужна, что сердце накололось
на живую мякоть, лёгкость, голос...

Как в меня заталкивала сходу
обморочный воздух несвободы,
задыхала страхом, что во сне,
не подозревала обо мне,

как я жил и не дышал на время,
принцеватый прыщ, седьмое семя,
клин косноязычья, блеск со ржой,
перемолвка правдою чужой.

На моих морях ты гнёзда вила,
отдавалась прочь, происходила
из детей, затруженных зверей,
вечных нужд, домашних батарей,

старилась, заказывала жалость,
умирала, снова возрождалась,
снова из забвения и тла
хорошела, плавилась, несла,

снилась, и щедрот твоих народы
снаряжали звёзды-путеводы;
освежаясь и благоволя,
продолжалась жадная земля.

И стоял я, воздухом научен —
в глубину, в вину, в тоску излучин,
на обдутом песнями горбе,
зная всё и помня о тебе.

* * *

Как пропущенный через время,
вдаль осмотришь честную глушь —
и уже не в себе, а с теми,
кто попозже и этим чуж.

Есть для тех, чья печаль не спета,
но уж сумерки правд кривы,
узнавание — вспышка лета
из простуженной головы.

Как по игрищам-скукотищам,
по лесам, по шитью-бытью
озаботят они, отыщут
наживную журьбу свою,

чем продлиться они сумели
в крышах ночи, в застрехах сна,
и о чём всё на самом деле,
и насколько земля честна —

не расчувствуют, не рассудят,
но останутся до конца,
и без умолку время будет
изменять им черты лица.

ЛЕС НА ВЫСОКОМ ХОЛМЕ

Что под круглой синью шершавый лес
у меня на глазах шумел,
рассыпался шорохом, тихо нёс
околесицу, спал и пел,

начинались листья как на духу
без задоринки из сучка,
а гнездовья дикие наверху
поживали исподтишка —

это знал я точно в жару и степь
городов, но не знал, к чему
эта хмарь дерев, эта глубь и крепь,
ровно по сердцу моему.

И когда сам лес тот над головой
шапкой зелени на холме
надрывает воздух, а ты живой
у подошвы, в своём уме,

то в кармане Камы рукав реки,
голос облака по воде —
не с тобой, конечно, и не с руки,
и ничто уже, и нигде.

Сторожа ход рыбы в гребной волне,
щёкот ястреба на лету,
ни о чём молчишь в наступающем дне,
закипая в честном цвету,

и из тени прошлого впереди,
из того, что ты здесь жилец,
из созревшей речи в своей груди —
появляешься наконец.



M O R T E M .
В П О Ч В У В Б И Т А Я К О С Т Ь

* * *

Я вернулся домой, когда стемнело,
затекло луною, офонарело,
запустило звёздами за окном.
Я хотел какое-то сделать дело,
но сперва прилёт. И забылся сном.

Я не помню всё или помню тугу,
что во сне мерещилось круг за кругом,
что творилось в лунной белиберде,
но когда проснулся, то был напуган
и не сразу понял, кто я и где.

Словно вдруг в лесу оказавшись где-то,
узнавал часы я и все предметы,
озирал по-дикому вкривь и вкось,
но привыкнул к телу быстрее ветра
и пропах домашней землёй насквозь.

И за явь, за страхи лесные эти
поутру — рассудок да взрыв из меди,
да осталось всего страшней во сне —
как забыл я напрочь, что жил на свете,
и при этом было не больно мне.

* * *

Ещё одна запыхавшаяся мысль,
ещё один изгиб благородной шеи,
одно нежное слово, слепленное сквозь стыд,
одно оплаченное солнце над просушенной кожей —
и я пойму, как беречь людей,
как встречать их взгляды, узнавая сквозь слёзы,
не бояться варварских обветренных скул,
восхищаться морщинами и резким запахом.

Скрипни, усталое колесо в извилинах, —
упоительное пламя над горящими волосами,
крылья, сложенные в парашютный ранец,
стопа, не шелохнувшая травянистого моря.

Мы говорим на языке стволов,
раненых веток, неухоженной почвы
в пластмассовых пещерах одобренной памяти,
в бумажных протоколах разрешённой любви.

Это небо и эта земля
никогда не устанут зачинать и дичиться,
расцветать, отсыхать, рассыпаться на крохи,
зарывать в тиши, называться белым светом.

Даже родясь преждевременно, ты опоздал,
остался без билета на праздничный шабаш,
отстал от астероида, искрящего по рельсам,
от серьёзной эпохи в игрушечном календарике.

Нет иного выхода, кроме того, как любить,
жалеть шубу-старость и о будущей смерти,
следить на свежей коже траншеи времени,
переиначивать ландшафт и верить в неведомое.
Нет сильнее, чем губить ненароком,

испытывать мясо с электрического конвейера,
отгонять насекомых, отстаивать свою кровь,
корчевать седину из макушки природы.

Заручась равнодушьем, скрепившись умом,
не пытаюсь понять про еду и одежду,
не стесняюсь узнать, кто затаился в тебе
до ночного чернозёма, до глади спокойствия —
земляничная ягодка в уколвшем лесу,
печальная вермишель в опустошённой тарелке,
заведённый снегирь на зимних кустах,
прибитая над бездной подкова на счастье.

Я знаю человека, который живёт
в каждом зеркале и смотрит оттуда,
он думает о своём, изменяясь в лице,
он тихо удивляется вместе со мною...

Солнце за солнцем, капля за каплею,
сон за сном, роздых за роздыхом —
очищая пожарами коллизии памяти,
бережливые сожаления смывая дождём,
всевышний агент не раскрывает имени,
шелестит в подошвах, поджилках, поступках,
намекает о себе в цитатах и прописях,
призывает к любви и честно прячется.

РЕКИ В ГЛАЗАХ

За один лишь взгляд успеваешь метко
провозиться, раниться, не сберечь,
за цветковый ротик, за вопль предка,
за одну обвальную полуречь.

Наживной кармин предлагала, знала
мановенье пазухи, нож в плечо,
кошениль-заботница — много-мало,
смирно-вольно, холодно-горячо...

Ну чего? Какого ещё расклада,
прописного ляда, козла из стада,
уговоров за полночь, слов и лап —
никогда не скажешь, хозяин-раб.

На пружинном смехе, на честном деле,
на огне недюжинном эти вот
очертанья тела из-под шинели
каждодневных войн и печных забот.

Кружевная ниточка, иностранка
среди локтей, подмышек и башмаков,
помнишь, жил в лесу неразменный ангел,
что грозился зверем и был таков.

На свету маячила, не простила,
а сынишку млечного завела,
обучила свежести, охватила
до пытливых коллик да добела.

За родную кровь перегрызть готова,
даже днём, когда за окном страна,
ты ещё телесна, ты здесь, ты снова
безупречно ранена и одна,

и под взглядом этим с тоской речною
не пойму я, как ты в меня вползла,
закипела облаком и виною,
сокровенной судорогой тепла...

* * *

Та дорога с гулким небом,
по какой спешил пешком
в магазин за чёрным хлебом
и за белым молоком,

в пору вести голубиной,
в эру детства и родства —
ты такой казалась длинной
и понятною едва.

И скучал, и уставал я
от тебя, терпя пока,
а когда подрос, то стала
уж не та, уж коротка.

За какие-то минуты
ностальгической ходьбы
прохожу тебя я, будто
вылетаю из трубы.

Вижу — стены и балконы,
лица, ветви, провода;
всё про то, что неуклонно
на глазах и навсегда...

Знаю: нет возврата в корни,
в край не начатых скорбей,
где трава всего зелёней
и на небе голубей.

Ты лишь здесь, где надо Бога,
где как вспомним — так рискнём,
где за хлебушком дорога
всё молочней с каждым днём.

ПРОВАЛ

Так в молчании Штирлица шухер и грусть
оттого что усталость бойца,
и порой лишь глазами дано наизусть
намекнуть и чертами лица

про берёзы, пшеничную ширь и про снег,
гладь небесную, чистую так,
как глаза у потомков арийских коллег,
как ещё не придуманный флаг.

По весне, лишь природы заводится труд
и на выстрел и голос живой
запряжённые танки особенно прут
по измученной передовой, —

скрежет мозга и матерный ветер с реки,
бензопилы не спят и режут,
и в разгромленном воздухе чуют стрелки
феерический гитлеркапут.

Будет бездна с прожилками, млечный огонь,
бег о смерти и спехи гурьбой,
будет детское утро и пряник-гармонь,
перекуры в субботний отбой.

И когда-то за этот раздор и битьё,
за желание взглядом прожечь
уцелевший разведчик предьявит своё —
не глазами и даже не речь.

Он затянет во весь свой отвыкнувший дух,
по-родному, тепло и любя,
про широкую степь, про широкую — вслух —
и тем самым раскроет себя...

* * *

Т. Е.

У тебя дитя. Да и ты — дитя,
не по виду, так по нутру,
над зевластой жизнью крылом света,
как бельём на лихом ветру.

Ангелок непуганый и рябой,
чей оранжевый вздор всерьёз,
чья забота — ласки наперебой,
чтоб ребёнок роднел и рос.

На твоих затверженных коготках —
лак просохнул, а блеск промок,
а в тоске о будущем, в облаках, —
запряжённый единорог.

А дитя сквозь радость и страх во сне,
сквозь слюнявые кружева
выдыхает «мама», уже вполне
постигая свои слова.

Из каких поджилок, пойми поди,
из души, где мороз косил,
из привычных сказок в твоей груди —
столько времени, столько сил?

Хоть в чернике взгляда пути лесны,
в тихой ведьме меж слов и строк —
невезучий голос ещё весны,
не согретый ещё цветок.

Ради снов младенчества, солнца лет,
сообщаемого тепла —

позабыла ты, как ловила свет,
как картины писать могла.

Предлагала мне на большом листе
хор фигур и титанов дня.
Из теней. Из линий. И лучше те,
что навывлет прошли меня.

И состав мой будничный, мёртв и груб,
всколыхнулся весь, как дыша,
от живучей трели из детских губ,
от нажима карандаша...

ВКУС МОЛОКА

А случится, что ты пройдёшь
там, где даль и сольются цело
небо-ангел, чужбина-рожь,
веха духа да эхо тела,

будет воздух, как сон, тягуч —
ты поймёшь всё, но вслух ни звука,
ты, весна моя, вечный луч,
материнская хворь, разлука.

Были руки твои добры,
голос облачен и подёрнут
зверской нежностью той поры,
где лежал я, в огонь завёрнут.

От безмолвия разбудив,
позвала ты, и я послушно
пил тепло из твоей груди,
прижимался щекою душно.

Кто бы знал, что, на свет ведом,
из зерна я пророщен буду,
и, окрепнув, предам твой дом
оставлению, как и всюду,

стану долго рядить в пути,
возвращаться — но весь едва ли,
лишь на время своим «прости»
успокоив твои печали,

и всплакнёшь ты, как дни прошли,
как меня пеленала туго
в сонный шёпот и пласт земли
из-под хищного злого плуга.

* * *

В закоулках дна, где лишь Бога звать,
 а у нищенства самый край —
 закурить да выпить-заночевать —
 я услышу твоё «дай»,
 и в ответ за то, что посмел просить,
 что проказа твоя честна —
 отшутить, откашляться, откосить —
 ты услышишь моё «на».

«На», мол, «нет», серебряный, «на», мол, «есть»,
 и не в том прокол, что потом
 будет жаль, а в том, что со мной ты здесь
 и окажешься вдруг Христом,
 и, с тобой стесняясь скатиться в убыль,
 в тёмный сон, где позор угрюм,
 я тебе не подал последний рубль
 и не пропил последний ум.

УНОСИМЫЙ СВЕТ

I

У отца Варсонофия сто гигабайт архангелов
 в облачном хранилище, в прошве дня,
 данных ему всевышней разлукой
 в память о звоне мобильного креста.
 В непостижном медвежьем лесу,
 на перекрёстке дремучей совести,
 в краю закоснелых сучьев
 среди человеческих ветвей
 он построил воздушную землянку,
 укрепил жердями и костью,
 благословил стихами и усилиями,
 испытал ремесленной жертвою.
 Пустынный и трезвый,
 он жил в ней лесными ночами,
 говорил нездешние выражения,
 прислушивался к звериным звукам.
 Забегала лиса — приносила свой голод,
 забредали люди — мучились совестью,
 заглядывал чёрт — уговаривал переехать,
 заползала трава — попадала в охапку.
 Годные годы кручинного отречения,
 толоконная твердьба о сухожильной простоте,
 о душе, убегающей в подвздошину
 старославянскими шипящими на собственный лад —
 и он увидел пробивающийся восход в деревьях,
 почувствовал невинность голого родника,
 отравился мудростью кропотливых корней,
 понял грубость невыносимого хлеба.

И там, где он жил,
 где сомневался и приходил в себя,
 где падал и возвеличивал,

не находил ни угла, ни места,
 вырубили солнечную площадку,
 соорудили крыши и купола,
 посадили огороды, поселили людей,
 обrekli заборами и вопросами:
 правильно ли они заблуждаются,
 широко ли идут, грозно ли молятся,
 чутко ли по ночам молчат во сне,
 верно ли заговаривают вечный прах.
 Отец Варсонофий им отвечал,
 постигал, приручивал, размежёвывал,
 допускал рукотворные чудеса,
 кормил запрещённою голубикой.
 Сонмы колоколов и панихид
 отзывались его прописными гимнами,
 люди стекались со всех рубежей,
 приносили страхи в круглых платочках.
 Князя просили мужественных стрел,
 работники дна — послушных дождей,
 пустынники — отчаянья за горизонтом,
 нищие — птицы в ладонях неба...

И когда отец Варсонофий почувствовал,
 что уже недолго, что рядом, что вот —
 застигает великая немота,
 репетиция окончательного безумия —
 был ли предел многодавней вере,
 прояснилось ли небо в угрюмом омуте,
 куда девать подступающую тишину,
 где и что теперь в человеке —
 он вернулся обратно к себе в землянку,
 он почти ничего не говорил,
 он сделался воском сгоревшей свечи,
 именем на губах, внезапной памятью.

В его руках стыл берёзовый листок,
 нежно измятый последними попытками —
 он был сорван с дерева ещё недавно,
 и, разобран надвое, сочился жизнью.

II

Ты, мой ранний малиновый друг,
 мой цвет весны, заплачка невинности,
 детское хотение луны и счастья,
 бодрый ветерок серебряных мыслей,
 придорожную веру сермяжной травы,
 несожжённый ковыль тугого отчаянья
 за глубокой пазухой, за зорким киотом
 потерей на память, чтоб не забыть.

Будет — не будет, снесёт — не вынесет,
 заклубится радостью, аукнется адом —
 в отлучённой почве бессонно плавится
 непрощённое и святое.

* * *

Надо жадного слова «я живу»,
каплю моря, вбитую в мураву,
корня дна, чья рослая сила слепо
убегает из чернозёма в небо.

Слово-яблоко, вдруг рассыпаясь на
продувные смыслы, припарки сна,
призрак жизни, бездны с дождём и кровом,
набрякает тёмным усталым зёвом.

На язык, наощупь, на вслух оно —
невпопад, не на руку, не дано,
наразгад из мозга, не по науке,
вынимая вещице дни и звуки,

называя мир, заводя письмо —
не о том, не то, что есть, не само —
за обиду млечную человечью
оставаясь вещью и верной речью.

Это море, вспененное в закат
бороздой событий, и самый ад,
где оно, то встав, то ложась стеною,
в черепицу волн — говорило мною.

И, смотря на бешеное родство,
понимал, наверное, я его,
отмечал, как мощно, легко и скоро,
наливаясь криком того раздора.

Запалялось слово из прошлых книг,
поднимало дремлющий свой язык,
и, по-птичьи солнцу на небе веря,
приручал я море, как будто зверя.

РЫБКА

Новогодие, как ни жалко,
отгорело. И уж пора б.
Ёлку-сосенку, ёлку-палку
умещали обратно в шкаф.

Подметали как заводные,
трезво складывали столы,
вспоминали, что выходные
были праздничны и милы.

Подтирали-скребли до злости,
поддевали диван-палас,
где гирлянды да рыбы кости,
от шампанского пробка в глаз...

Да забыли одну игрушку,
убираючись, впопыхах
и не сняли лишь потому, что
замоталась она в ветвях.

Так вот с этою самой ёлкой
положили обратно в шкаф,
где её и видали только,
хвою по полу растеряв...

Рыбку-выдумку, безделушку —
в темнотишье, где все — свои,
что уже не сверкнёт на ушко
из пластмассовой чешуи.

Даже если помочь ей — было б
словно правды искать во сне,
даже если она светила
вместе с прочими наравне,

но сейчас она там негромко,
безымянна и не видна,
верно, сходит с ума о чём-то
и, конечно, совсем одна.

* * *

Как обугленные нищие,
отлучённые репы,
одинокое ходят тыщами
и глядят в глаза твои,

так глядят, что философии
не приплесть, и стыд во тьме,
что я утром выпил кофия
и ещё в своём уме.

Кто б ни гнал да ни пожуривал,
прокаженцы и стрелки
убедительного курева
для немедленной тоски,

набрякая сухожильями,
вы храните за спиной
бурдюки с ночными крыльями
и отставленной страной.

Для запойного прохожего,
честно взятого в кольцо,
нестерпимей, что похожи вы
на забытое лицо,

на войну, на гвозди совести,
на всё то, что он почти
сам в себе при всей суровости
побоялся бы найти,

засмутился бы отечества,
переквасился в молве —
бесприютное младенчество,
гроздь в чёрной синеве,

где от рубища дымящего,
от лица в людской дали
остаются лишь просящие
неземные хрустали.

* * *

Так в разрытом небе, у гнева и дня внутри,
в кривизне события, волчьего чувства долга
этот холод пристальный, будто — сейчас умри —
то накроет облаком эхо стыда и Бога.

Так опавшей осенью знают про гром зимы,
не хотят молвы её, ни кутерьмы, ни хая,
утеплив расщелины, чешут себе умы,
но приметы тянутся, так и не убивая.

Это — что б ни думал ты — веточка в тишину,
неспроста, не замертво, где голоса из бездны,
это ангел пашущий думает: «Подмигну,
застыжу до пропасти, но не оставлю честно».

Это сон упущенный — в летнем чужом раю,
не такая правда всё, чтобы быть вечно правой,
это просто камешек в самую зыбь твою,
это свет без умолку и пробивные травы.

Там, где греть по-зимнему учат в грудной дали,
перебои-новости чертят над головою,
вырастает дерево, как посреди земли,
словно голос крепнувший, словно давно живое...

* * *

Обратишься назад — и получишь черничное дуло,
топкий ягель стыда, невозможность прошедшей реки,
потому что — сбилось, и простыло тебя, и проснуло,
потому что обрыв — у едва пережитой строки.

Что гудки да звонки — сколько помни своё оправданье,
всё не там, где в раю, и по-зверски не как у людей,
но за то, что твоё — эта жизнь, это позднее зданье,
закаляйся бедою и честно себе холодей.

Зарядил да устал — как весною червивая осень,
вместо яблока хрусткого лишь жестковина семян,
как в себя превратишься, остыв и ударившись оземь,
и стоишь не колышась, разогнан на звуки и прям.

Обезболенный нерв, балалайка с надорванным смехом,
вопрошайка вниманья, крошащийся ветром камыш,
догадайся про счастье и выдумай детским орехом,
где живёшь спозаранку и дикою ночью звучишь...

Циферблат-древоточец —
и словно бы гулкая сила
перетрёт всё, что прежде
стыдобило,
не было,
было...

КОНЕЦ ОХОТЫ

Что делать
зимнему человеку —
с теплом?
Как обойтись —
с подступившей голодной нежностью?
Если из солнечного захолустья,
из победного рога, ломящегося от звёзд,
улучило и всыпало,
прибрало к рукам,
пожалело,
провело голубиным пёрышком по лицу,
оказалось простым и по-женски змеиным...

Человек,
вчера ещё всюду поспевающий мужик,
что питался желчью подкарауленной добычи,
сушил у костра скучающие пятки,
бодро матерился, перебирая шкуры,
носился по ледяной пустыне с оскалом наперевес,
по-соколиному бдел на страже беззакония,
зверел, чтоб ни пяди — ни лесу, ни хозяину,
посмеивался в темноту, крепчал в пещере,

этот человек,
эти его бóрзые мускулы,
оказались в круге невозможного света,
неприличного тепла, осторожной зелени,
пробившейся из прежних извилин земли.

Человек
оказался одетым в чёткие джинсы,
годную водолазку и на уютном тротуаре,
внимая басням сноровистых невеличек
среди закипающих почек и подобрешшего воздуха.

Куда пристроить неприкосновенное хозяйство —
зубы на полке да костяные ножички,
закалённое копьё, мамонтов на стене,
незамерзающее вождение, намоленный инструктаж?

Грубыми ладонями — угольки серебряной песенки,
обветренными губами — ребячьи чистые звуки,
приспичившим сердцем — охоту-погоду-женщину
он пытается поместить в разобранной скорлупе.

Ну и что, что он нежен,
что сочится щекотной глупостью,
что не пружинистый зверь
на ребристых, с когтями, подошвах,
не охотник, забывший о честолюбивом мясе,
не проверенный кровью, стремящийся, наконецник...

Ёлку-моталку сменивши на дудку-щемилку,
освисты полночного снега — на дневную листву,
иглы лесных дикобразий — на городские скверы,
он спохватывается за голову,
он вспоминает южные имена...

Серо — в лице его,
взъерошен налитый спелостью взгляд,
выросшая из мяса, душа назначается вёщей,
он заводит, как забытую музыку, ещё желанья —
бескорыстно пригреть,
влюбиться напропалую,
честно измучиться...

И хоть было уже,
но вечно, как будто впервые —
гомон весеннего смеха и зацветающая жара,
время быть лёгким, весёлым и окунувшимся,
пора удалого раздолья и зелени-щетины...

А солнце длится, едва ли уж отрывая взгляд,
круглеющий горизонт близок и хлебосолен,
и так невозможно-ясно, что делать со всем теплом
пойманному охотнику,
пропаду и ловцу...

* * *

Господи, как не внове,
что я люблю попу,
море огня и крови,
певчую жизнь в лесу,

дуру-мускулатуру,
масляный взрыв цветов,
ярмарку глаз понурых
и белозубых ртов.

Будто за всё ответят
пальмами из песка,
светятся люди-дети
сразу издалека.

Любят и прут, а значит,
знают, как жизнь пряма,
ищут себя да прячут,
сходят себе с ума.

И даже если глупо
всё это, то теперь —
сам-то как волчьи зубы,
гончее время, зверь,

змей с отравившей речью,
тварь, о какой молва,
чёткий стрелок-кузнечик,
чуткая мурава...

Я застрочил лугами,
застрекотал, загнул...
Слыша едва ногами
вещий зелёный гул.

И средь быльи, где звонче
ветер да тетива,
так и начнусь и кончусь.
И не расти трава.

РАСПИСНЫЕ ЧАСЫ

Механизм в пластмассовом окладе
в стиле новомодной простоты —
ни шкалы, ни цифр на циферблате,
но уже узоры и цветы.

Стрелки так свободны и нескоры,
что по опозданию — не беда,
но пойми попробуй, час который,
сколько там осталось и куда.

Видал — солнце выжжется из тени,
синь — взорвало, в сумрак — отлегло,
в точном небе не было делений,
просто — непослушно и светло.

Но в часах — вслепую и тревожно —
стрелки совершают тихий круг,
и всё это — солнце в небе тоже,
всё от неизвестности испуг.

Яминой-войной, судачьей рифмой,
равною семьею — но быльё
прорастёт себе, и станет цифрой
долгое неведение твоё.

И за это сонное наследство
в тиканье — жужжании осы,
жалящем тревогою и детством,
честно делятся люди и часы.

И чего б ни пряталось за взором,
высмотревшим землю до конца —
есть ещё цветы, цветы-узоры
на пластмассе страшного творца.

* * *

То ли дождь, то ли снег — нечто среднее —
зарядил в темноте с высоты,
словно что-то на свете последнее
происходит и кончился ты.

За окном, под балконами длинными, —
по подсвеченным лужам шаги,
ловкий посвист, ревенёе машинное,
и деревья нагие туги.

В зале шкаф, паутина за шторами,
воздух купленный, стол угловой,
прописные обои с узорами,
телевизор с поющей Москвой...

Говорил, помню, дяденька с проседью
как советчик, а может быть, друг:
«Не живи здесь зимою и осенью,
уезжай в это время на юг,

а не то — завздыхаешь по-прежнему
да испробуешь холод сквозной,
заболеешь тяжёлой одеждою,
новогоднею всей белизной...»

Говорила мне память по-старому
про любовь, за которую цвёл,
как держал её за руку, за руку
по песку воспалённому вёл.

А теперь уж промозгло и совестно,
а теперь только скажешь «да ну»,
а теперь эта осень чудовищно
не похожа совсем на весну.

И так ясно всё и фиолетово,
и так странно цветы не растут,
будто нет ничего, кроме этого,
и пора уже. Нечего тут...

* * *

Когда говорили все тысячи строк
из речью просоленных книг,
среди тропов запутанных, если б я мог
свой голос настичь напрямик.

До правды остался, едва проронил
себя, так опять задавал:
о чём заводил я непрочные дни,
куда этот гул, этот вал?

Колёса вопросов — забота огня,
не спящего в тихом внутри,
за то, что ещё забирали меня
стращания ночи да небо-стерня,
натянутый провод зари...

И сердцу положено было тончать,
а чуют — нутру и зверью
в ещё человеке за то, что тотчас
он жизнь затуманил свою.

За то, чтобы с ним говорили о нём
на вроде бы на языке
привычном, но раненном честным огнём,
и с вишенкой в кулаке,

а прошлое море, а будущность фраз
о счастье наставших побед —
всё это как будто... Но каждый из нас
по-своему ранен на свет.

И, кажется, нету ни правды, ни ног,
ни прошлого, что сожжено,
когда наступают все тысячи строк
и честное горе одно.



АМОР. ПОЛЫНЬ И ЯБЛОЧКО

* * *

Словно после дороги, шмыгнувший домой,
из руки отпускающей,
этой зимой
из умеющих пальчиков тесно разжатый,
только съехавший, сам по себе провожатый,

клонешь дверь и увидишь распаханый стол,
где в часы честно вбитый осиновый кол,
карандашный окурок, притупленный ради
замирания памяти в умной тетради.

Вспомнишь имя-улыбку, рябиновый смех,
колокольчик заливистых жестов — из тех,
что по следу уроненной радости — даром
разбирают лицо деревянным пожаром.

Это песенки-ягоды, из горсти
по углам раскатившиеся,
«пусти»
говоримое в миг, как, прибившись к сердцу,
отпускать не надо, а лишь вести...

И в тот гроб, который, что сам не свой,
как не веря, насколько ты весь живой,
в самый час, когда прозябаешь рядом
вместе с этим утром, разбитым садом,

в благочинном мхе замечаешь лишь,
как дрожишь от памяти, как крошишь
самого себя до беды отвесной,
запаляя хвост над кузнечной бездной,

пожелаешь хаос, где, что ни сей,
в сердцевине самой, в лучине всей —
кружевное «ты» из огня и гнева
протянуло имя, как ветку с древа...

АРРАКИС

I

Губы твои, словно песню Христову,
зоркую ягоду-грусть,
света полоску из тёплого крова —
выучу да перебыюсь.

Честную мякоть, остылую свежесть
в муку подвижную сплесть
с мельничной силою, с именем нежным
самым каким ни на есть.

Брошенным тестом да волчьей вишней
тянет твой жилистый дом,
дом, из которого — жили да вышли
и народились потом.

Дом, что разношен и прошлому предан,
дом, где о будущем спишь
и из окна настороженным светом
целишься в темень да тишь.

Если не ты, это я всё придумал —
резвых зверей на бегу,
мысли, забившие тесные трюмы
в тихо плывущем мозгу.

Страх безымянный над звёздным драконом,
где молоко как змея
и остаётся неотречённой
вечная память твоя.

Там, в кривизне колыбельного края,
жизнь только вот и вчерне,
там назовёшь ты себя, и узнаю
голос, протянутый мне.

II

На краю слова,
 на заре кровавистой пашни,
 где осыпается чужим окоём,
 а ручные часы приходят в негодность,
 я удачно ходил по неприбранным дорогам,
 встречал тебя, воскрешал из памяти,
 брал с собою на тряское сухопутье,
 утешал в осеннее безрадостное поле.
 Вольный свидетель распалённых ветром волос,
 твоих улыбок, хихиканья, ласковой кожи,
 я видел зовущие ясли в недетском взгляде,
 я лишился речи, боясь прикоснуться.
 Но занималась весна, и мы жили с тобой,
 жили, как крик на разрыв, жили и так и эдак:
 на речном песке, в заснеженном проезде стогу —
 я, мутнея, не замечал твою жадную силу.
 У нас были дети, мы строили неуютный дом,
 растили заботы, ходили на строгую службу,
 отпускали потомство в летящую дальше жизнь,
 ругаясь — старели, радуясь — умирали.
 Я провожал тебя — ты провожала меня,
 мы жалели друга друга на обрамлённых камнях,
 не понимали, поминали полынью и яблочком,
 молчали о прежнем по разные стороны света.
 Знал ли я раньше, что это уже судьба —
 в тебе, прохожей и словно бы ни о ком,
 оказавшейся родною прямо из ничего
 за укус-любовь, за зловонье пристойной старости...

Звезда Арракис смотрела из глубины,
 прощающая земля вздыхала из червоточины,
 растерзанный горизонт болел тишиной и небом,
 тесно и неудобно катилась махина времени.

Как подарила того, кто теперь я есть,
 сквозь пепел живучих богов пропадала где-то,
 на задворках, что платье, тихо меняла лица,
 кормила последним светом в упрямой дали...

И я чуял —
 словно в подстроеном кем-то тумане —
 стоишь с ночной повязкой на честных глазах,
 улыбаешься, узнаёшь меня сквозь невозможность,
 сквозь расстояния, сквозь пустоту и холод

и так просто произносишь: «Ты...»

III

Тремя терпеливыми переулками или одной взлохмаченной вспышкой — но не шёл домой, не хотел в плывучий кирпичный корабль, в ледяную счастливую симфонию, где расставлены предметы, прочитаны надорванные книги и объявления, пересмотрены счастливые фильмы и корриды. Где знал наизусть. Он чувствовал бы, что вот — только явился, только снял заиндевелившие доспехи, оттаял и обсох в тряпичном круговороте — как уже сейчас, оно, гулкое и безысходное, изо льда отразившего зеркала, из терема гостеприимного мозга, из тишины перехваченного дыхания — зашевелилось бы в нём, заговорило иным бестолковым образом, заполонило до последних клеток, остатков и пузырей...

А ведь это был светоч, это продолжали нас, это говорила она...

Скрученная струна из надорвавшегося дерева, хрупкая ножка от разбившегося хрусталя, звериная нота из первобытной охоты, забрезжившее ретивое на опрокинутом небосводе — где тебя принимают из тёплого одеяла, расчехляют как инструмент и отпускают по лестнице, гладят-подбрасывают, прощают-рассказывают, обшивают свежей новогодней правдой.

Ты — распятый на освещённом столе, с трубками, подогнанными к животу и голове, трубками, по каким пульсировала умная жидкость, ты боялся оказаться за горизонтом, боялся очухаться наедине со звенящей совестью, где ни предложенный Бог, ни ужас небытия не уместились бы в надёжном черепе...

Ты — худо-бедно научившийся плавать, в тине и кувшинках, возле обрывистого берега, ты глотнул зеленой водицы, забарахтался, забил по волнам, потерял опору под суетливыми ногами, готов

был увязнуть в упругой толще, но подоспевшая отцовская рука вытянула на твёрдый берег...

Ты — ожидающий на дождливой станции, так стоял с этой непонятной девушкой, самой единственной, но не знающей о настоящем тебе, ты загадал, что вот — подойдёт электричка, и я просто обниму, я не стану разговаривать...

Электричка прошумела, ты обнял, ты был любим, с рёвом и гневом небо распоролось над головой, над серым распаханном полем нашлась звезда, застала врасплох крылатая неожиданность, строгая, непонятливая, но желанная пора, та самая — недостижимая и навеки.

Во всякую игру, правду, эпоху, в момент доверительного отчаяния, зло, неподвластно и обязательно всегда находилось сиянье в воздухе.

Не его ты боялся, возвращаясь домой, не его сверхурочной кромешной вспышки, а того, что коснёшься разреженного гула, которым звенел ещё до рождения.

Его дичился, его любил, заранее предсказывал в сонном наяву, терпел, как растопленный воск на ладони, смущённо прятал за косыми фразами...

Говорил его пропащей бездною, помнил орбиты, слышал фибрами, не понимал всё, но тем не менее — именно поэтому приходил домой.

* * *

Стол да шкаф с прописной нетленкой
книг, где каждый знаком торец.
Звук гремящей воды за стенкой.
Мне живётся здесь. Мне — конец.

Эта комната, вещи-мыши
по углам, по местам своим
сообщают, что жил да вышел
их хозяин и странно им.

Хоть не кто-то, с кем ты не знался, —
посторонний — а я как есть,
прикасался и прилагался
ко всему, что сегодня здесь.

Здесь, где прошлое не заблещет
так, как раньше, но свет — гурьбой,
и как будто чужие — вещи,
прежде начатые тобой.

Словно тот, кто здесь был, — умерший,
и идёшь по его следам
неостывшим, как не сумевший
разгадать, как вообще он там...

И решаешь сурьму-загадку,
ночь сердечную, смерть вчерне:
«Ты ли прожил здесь ум свой краткий
в этой комнате, в этом сне,

пел, любил, не искал ответа,
знал про что, но не как оно,
и куда там, когда всё это...
Это всё, что тебе дано».

* * *

Ни полднѣя, да и ни часа
без того, как жизнь ясна,
утешительного мяса,
огнестрельного рожна...

В песни сложенные вести,
свист со светом наравне,
лица с глянцевой жестью
из экрана на стене.

В долго едущих машинах
руки-ноги коротки —
набрякают в честных спинах
трудовые плавники,

вспашут рыбы-человеки
за один заплыв прямой
вспять повёрнутые реки
светлой памяти самой...

Светлой памяти, где милость —
не галдёж на рубеже,
а ничто не изменилось,
не изменится уже...

Где вчерашнее — так рядом,
что и след его лучист,
и сегодня снег напáдал,
непрожитый чистый лист.

* * *

Как в казённом доме электрочайник
я согрел и думал попить чайку,
но пока крутился, то этот чайник
уж почти остыл и сказал «ку-ку».

Я ещё не понял всё и старался
разогреть по новой, но хоть бы звук —
не шумел никак он, не загорался
и не грел, поскольку сломался вдруг.

Но не вся остыла вода, похоже,
раз теплом, оставшимся в ней, вполне
заварил себе я и выпил всё же.
И такого было довольно мне...

Человека с шапкою-невидимкой
знал я тысячи детских солнц и лун —
как он был горяч и туманил дымкой,
закипал от планов и как был юн.

Но с него однажды стащили свитер
и загрызли в драке толпою всей,
он плевался кровью своей, избитый,
под пинки-смешочки и крики «эй».

Он тогда сломался, почти остынув
до поры, пока из руин и трав
не пришла вдруг девушка, сердце вынув,
не нашла его так, за руку взяв.

И он вспыхнул заново, хоть казалось,
будто выжат жизнью и нелюдим...
Видно, что-то тёплое в нём осталось.
И такого было довольно им.

ВЕЧЕРНИЙ ТРАМВАЙ

Эти явные лепесточки,
это такая вещь —
бочки-пестики, листья-строчки,
жирный прекрасный клещ...

А по сути-то, ждал в трамвае
и прилепясь к окну,
сам собою, торча-кивая,
«му» говорил и «ну».

Как облапанная тычинка,
как надорвавший шквал —
было-было ему в новинку
то, что скрывал-скрывал.

Хоть до этого ни в какую
он бы не знал того —
стало-стало ему вживую
что-то внутри него.

Люди в двери входили чётко,
сумки тянули вслед,
предлагала кондуктор-тётка
не потерять билет.

И косились в электросвете,
и отводили взгляд,
и гадали, куда он едет,
что он мычит тут, гад.

И как вышел он, было поздно,
было всё как во сне —
круглый след на стекле морозном,
что продышал в окне.

Круг, где если и смысла нету,
всё, как и стать должно, —
просто темно и только это,
просто темно-темно...

ТЕЛА́ БЕЗ ИСПУГА

Торопиться — сквозь нескучные ожидания, сквозь лица в компоте фруктовых дней, промахи по кругу, пожар в кружевных извилинах, зёрна в содрогающемся теле, сквозь «эх» и «б..я» подоспевшего ротозейства, сквозь бумажные цифры за пазухой, возбуждённые мониторы и дремучую паутину — торопиться, чтоб не успеть ещё больше.

А на деле — на дрожжевой смерти, на прорастающем сквозь эхо корню — некуда, не о чем и не то чтобы о тебе... Ты, продуманное до дыр, придуманное над нами, за нас сделанное, выпитое и пережитое — где твоё крокодиле журавлиное?

Если тихо гложущая зазноба, неприкормленные детишки, чуемое в поджилках государство, мысли о запретном будущем без тебя — нужно ли об этом, это ли я сам, ты ли это, прихотливая мудрость, лежащая спать в обратный путь.

Это рыло, это живое пятно грядущего, свежее бельмо ненаступивших дней, с каждым шагом, косоротством, признанием — на ночном полотне небесной музыки — всё уверенней и приятней.

Дымящихся, креплённых порошковыми приправами, с остатками безрассудства кручинных щей, трудовой обитатель подлунного снега, отведай, как если бы был один — упал за стол и в черновом молчании навернул после долгой трясушей дороги, после наполненных голодным ветром будней, после цыганской песни на эшафоте...

Голова твоя, припаянная обратно, расчёсанная на пробор, с открытым взглядом, песня твоя, сказанная невпопад, рассыпанная по улице, с далёким смехом,

вера, ощутимая так, что не заграбастать, с лицом в окружности — и не было времени, чтобы понять, чтобы сделать хуже и честнее, неоправданней и первой.

Не было времени. Ведь надо длиться, чтобы опоздать.

Чтобы всё дурное, кривое, несбывшееся,

с резкими зубами протянутых обстоятельств,
лезущее из прошлого в будущее-не ждущее,
на разбег — оказалось последним сном.

* * *

Так из снега, полёгшего навзничь, — остывшая ось,
что не сплюнешь, тепла дожидаясь, «всё обошлось»,
а заметишь — из холода-года, из стужи влобешной —
вострозубую волчью повадку да полюс кромешный.

Будет лето — как свадьба и блеск населённой реки,
удивлённые рыбы-глазуньи да люди-звонки,
даже если сейчас — не уже и куда бы уж хуже —
время ласки внутри и протяжного зверя снаружи.

За драчливую смену погод, за лученье и дрожь,
чем живёшь протяжённой, тем крепче себя же проснёшь,
осмелеешь на солнце, из вызванной вьюги проглянешь,
перепутаешь небо с землёю и знать перестанешь...

По весне деревянной, как чуют да веять пришлось,
из зелёной десны отливающий холодом гвоздь,
среди разверстой зимы, где дома в плюсовой обороне,
островок на пролитом ветру и тепло из ладони,

хоть и нет ничего, и сумело давно надоесть,
ты простишь, потому что ты есть...

ОРАНЖЕВЫЙ РАБОТНИК

Знал да стыл зимою этой
за окном через стекло
дворник-прожитое лето,
дворник-снега намело.

У него была лопата,
спецодежда и сугроб,
и от света до заката
он лопатой этой скрёб.

И как только им сметалось
всё добро, то злей всего
ничего не оставалось,
кроме снега, для него.

Был он маленького роста
и как будто бы горбат,
было здорово и просто —
человек и снегопад.

И едва к нему с вопросом
подступали иногда —
мол, не там песка ты бросил,
убирался не туда —

не давал в ответ он спуску
и в какие гнал пути,
с тарабарского на русский
не могу перевести.

Не затем, что стыдно б вышло
или лексика не та,
просто плохо было слышно,
непонятно ничерта...

Но с утра, из сна поднятый
зацениль кромешный вид,
видишь ты, как он с лопатой
выйдет весь и говорит,

и за ним в сиянье гладком
два оранжевых крыла,
и идёт своим порядком
отпускающая мгла...

* * *

В момент житья-битья
о стену головою
ты хочешь, чтобы я
побыл самым тобою,

в тревогу, в радость, в жуть,
весною и зимою, —
ты ждёшь, чтоб кто-нибудь
побыл тобой самою...

Самим, самою, сам —
как страшно ты и странно
привязан к небесам
и именам тумана,

как ясно в день любой,
что умереть и сбыться
возможно лишь собой,
собой самым родиться,

что только и всего,
что есть не ты на свете,
но как постичь его
в рассерженном ответе?

Родной, до сухоты,
не свой, что уж прохожий,
а всё одно — не ты,
тобой не станет всё же.

В чужую шкуру влезть,
как в страшную берлогу —
ужели правда есть
и нужно ли, ей-богу?

Спелёнутый птенец,
с одра готовый взяться —
обрубленный конец,
уставший продолжаться...

И будет сон, где близь
с телами без испуга,
что гонятся срастись,
втираясь друг во друга,

за крепь, за цветъ, за прыть,
за время стать судьбою —
лишь только бы не быть,
не быть самим собою...

ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ СОТВОРЁН ЧЕЛОВЕК

Судя по этим мудрым, с кровинками, глазам,
в черепе спрятан старый вонючий мозг,
забуревшая сердцевина бывалого древа,
каменная подошва рассыпающейся горы.
Хозяин, стыдливый грубый дичок,
черепаша в скорлупе, младенец в матрёшке,
кроется под серой основательной кожей
меж прутьями рёбер в паутине нервов.
Много дежурных скрипичных истин
в музыкальной коробке безупречного черепа —
горькая чаша лесного безумия,
душевные шестерёнки заводной страны.
Порохом, облаком, курносой истерикой
хозяин выбирается на поверхность ума
в неоткрытую матрицу, в преисподнюю явь
и зорко спорит с небытием.
Сиротливее и безрассуднее то,
что в этом вязком трепетном мясе,
в томной слизи, в инстинктивном железе
спрятан мой несказанный брат.
Мой человек, моё боление,
мой неразменянный вопль смерти,
осеннее дыхание в свежей постели,
солнечные качели, поднимаемые ветром.

Небо в окно и деревья на дворе
говорят мне:
«И ты будешь таким».

Сплетения смелых животных тел
и язык в мозгу
говорят мне:
«И ты будешь таким».

Предчувствие краха и тоска среди праздника
говорят мне:
«И ты будешь таким».

Погоны архангелов с резиновыми мечами
говорят мне:
«И ты будешь таким».

Я такой. Я уже там. Я как вы.
За треском извилин, за снегом потерянных гор,
за щедедушным журчаньем цветного ручья,
за синим отвалом, за чёрною немотой...
Шершавым взмахом подневольного мужика
брошено зерно синичьей пшеницы,
выращен хлеб, из глины которого
будут кости, мясо, желания...
И ты снова свеж и томишься в яслях,
поднимаешь радость внезапного утра,
пьёшь слепое молоко прощения,
остываешь от зимней заgrabной речи.

Но пока
смотри в эти налившиеся ложью глаза,
трогай кору непонятного дуба,
не входи в простые ворчливые правды,
обрекайся ошибками,
зубри любовь.

Ведь ты угоден тем, что дышишь,
веришь-не веришь, молчишь без умолку,
смеешь о счастье, чувствуешь о совести
и жадно хранишь того, кто в тебе.

* * *

О, как жгуче в гурьбе-природе,
как во многом — всё об одном,
происходит-не происходит
белый свет за твоим окном,
серый волк — за пугливым сердцем,
жизнь — в пристыженном городке,
быт заткнувшийся — с певчей смертью
на заряженном языке.

Городит о лесной свободе
голос-исподволь, дым-вдвоём;
происходит-не происходит
песня-облако-водоём.
Рассыпается сон, что с нами,
на обломки от корабля —
ты ли это ли, мать честная,
явь лесная, всегда-земля?

О тебе, что тверда, поката,
перестужена и тепла,
и о том, как едва жива ты,
так уж всюду была.
Была...
Знать узнал я, едва ли помня,
сколько здешни твои края,
и так слышно во мне сегодня —
дробь под косточкой, кровь твоя...

А над кронами крах вороний,
роздых-ветер да свет на всех,
да сомкнутся в твоей ладони
звенья линий, горячий смех,
и смолчат все, что были, пели,
и не скажет никто любой —
что случилось на самом деле
с этой песнею и с тобой...

* * *

Перемётное кочевье
воронья, похмелье дня,
что ты заняло деревья
и картавишь про меня.

Да, я чую. Нет, я знаю.
А пойму — не захочу.
Лаю буднему да хаю
я сосновый гвоздь вручу.

У простуженного воя
и кукуканья вдали —
есть, по крайней мере, поле
леса, мясо из земли,

но у карка — вечно всуе
призвук горя, окрик сфер,
птичий зуб в сердитом клюве
и процеженное «р»,

как во сне, где на чужбине
я напился, а вокруг
ведьмы в сказочной рванине
облепили страшный сук

и ночуют, и вещуют,
как стреляют из пращей,
и в окличке их ищю я
имя будущих вещей.

Ни стыдобы, ни пощады,
ни казнённых, ни судей —
клёкот смерти, если надо,
спрятан в горле у людей,

и когда на рёв и гогот
он взведён и проронён,
ничего уже не смогут
сонмы веток и ворон;

лишь в живых закрылках птицы,
прошлым воздухом скребя,
время движется и снится
о тебе и сквозь тебя.

* * *

Плоть моя, привычка сына
к матери, огонь из глины,
одиночество-вдовство,
боль от боли, ты чего?
Ты куда при взгляде-вздохе
разбегаешься на крохи,
а в уме, где жизнь ключом,
не гниётся ни о чём?

Продолжая, чтоб моллось
и жилось, себя как голос,
чтоб работа и родство,
время, воздух, вещество,
ты стучишь уже без гнева
в наступающее небо,
в бездну, в землю, в старость-жесть,
и ещё твердишь: «Я есть».

И проткнёшь под осень снова
мякоть яблока лесного
так, чтоб радостно и зло
зубы смелые свело,
так, чтоб здóрово и резво
привкус дерева-железа,
запах, смешанный в траве,
прокатился в голове.

Жизнь, подаренная жажда,
даль, приближенная каждый
раз, когда уже не важно,
что там в дымке голубой.
Тело, начатое теми,
кто прощён и понят всеми,
тело-смерть и тело-время,
сочинённое тобой.

ПИСЬМА РОДИТЕЛЯМ

I. Ты придумала много тёплых имён

В глубине твоих мудрых морщин,
в дряблой коже, свисающей с черепа,
в заботливом тепле знакомых рук
с проступающими синими реками —
я услышал твоё прощение,
я почуял зов предстоящей земли,
я понял, что совсем ничего не знаю
о том, как надо любить и верить.

Я помню лишь то, как ты любила меня,
дышала мною, заботилась обо мне:
я лежал на твоих молодых коленях,
и ты улыбалась откуда-то сверху.
Тогда всё было лишь для тебя,
ради тебя, вокруг тебя —
тревожные ночи моих болезней,
халат в горошек, свет по комнате.

И позже, когда я подрос, стал зверем,
научился обходиться без твоих забот,
тяготился твоими нескончаемыми советами,
я всё-таки чуял: ты рядом со мною.
И всё же должен смириться с тем,
что когда-то солнце твоё остынет,
должен как-то к этому относиться,
должен крутиться и делать вид.

Я помню, как в детстве катался на велосипеде,
слетел с него и разбился в кровь:
мои локти, колени, мои ладони
были разодраны и покрыты грязью.
Громко плача и с трудом таща

громоздкий велосипед, я пришёл к тебе,
и ты омыла мои царапины,
обработала зелёнкой и успокоила.
Ты говорила «не плачь — ты взрослый»,
ты придумала много теплых имён,
ты остановила тревожную кровь,
ты скоро вернула обратно на землю...

Я не знаю, есть ли тот самый Бог,
именем которого ты молишься по утрам,
ставишь свечки за здоровье-упокой,
постишься в праздники и причащаешься,

я не знаю, нет ли того самого Бога,
в котором ярко моё предательство,
мои сомнения, мой алфавит
усталых страстей и прилежных мыслей,

во всяком случае, в прорехах отчаянья,
на истоке вселенной и в гугнивой толпе,
в высоких нотках трагического разговора,
в радости, бедности и безумии,
я никогда не устану представлять,
как спокойно лежу у тебя на руках,
как ты говоришь мне что-то нежное
и улыбаешься откуда-то сверху...

II. Отец говорил

Отец говорил:

«Вот видишь — стол.

Я сделал его собственными руками.
Много ушло инструментов и усилий,
много раз я пилил и отмеривал,
стёсывал, шкурил, заколачивал,
чтобы он вышел таким, как надо.
Смотри, какие у него толстые ножки,
крепкая столешница и гладкая поверхность,
как ладно подогнаны дубовые доски.
Всё это простоит хоть сотню лет.
Когда-нибудь я умру, как принято,
кости мои остынут в могиле,
а мои внуки будут сидеть за этим столом,
вспоминать меня и резать говядину».

Отец говорил:

«Вот — гараж.

Он сделан из грубого кирпича
рабочими, которых нанял я
на своим трудом заработанные деньги.
Смотри, какие полки внутри гаража —
я выстругал их собственными руками,
прибил к стене железный каркас,
на котором они и будут держаться.
Эти полки и этот кирпичный гараж
проживут сотню и более лет —
я умру, а внуки в моём гараже
будут пить водку и материться».

Отец говорил:

«Вот — молоток.

Ты сделал его на уроках труда,
работал напильником, шкурил дерево —

я сохраню его как память.

Я так рад тому, что мой собственный сын
создал хоть что-то своими руками.
Я люблю всё, что крепко, надёжно, железно,
всё то, что противится ушлому времени.
Когда-нибудь мы с тобою уйдём,
а наши внуки будут жить за нас,
обзаводиться семьёю, рожать детей
и продолжать потомственную фамилию.
Ведь в нашей жизни не всё так сложно,
чтобы слыть человеком, не быть подлецом,
знать своё дело, не хлопать ушами
и просто радоваться честным будням».

Конечно, отец говорил прописные
истины, которые говорят и все,
но, наверно, вкладывал какой-то особый
смысл в правильные слова.

Я же зевал.

Мне было скучно.

Мне было наплевать на самодельный стол,
кирпичный гараж и надёжные полки,
памятный молоток и счастливых внуков.
Я не желал возиться с детьми,
не любил железки и инструменты,
презирал упорный ослиный труд,
низкие радости, продолжение рода.
В моей голове крутились песни,
плавились ритмы и прочие глупости,
я хотел перестроить огромный мир,
возможно, мало ещё умея.

Лишь много позднее, когда я сам
перебрал великое множество чувств,
сочинил легионы бесполезных стихов,
испытал надежды и потрясения,
я был бы рад, если б хоть строка
по качеству, крепости и простоте
сравнилась с тем, как отец пилил,
шкурил, тесал и заколачивал...

Я сказал бы ему своё «прости»
я пожал бы его суровую руку
и накрепко запер в бездомном сердце
всё то, что мне говорил отец.

* * *

Сквозь поспешную муть и лесные черты,
сквозь шаги да круги по соседству
узнаёшь пресный воздух, где ты — это ты,
где подбившая вспышка из детства.

За разбрызг конопушек и синево глаз,
за возможность счастливеть, о том не боясь,
за дыханье — на восходе и в силе
ты отдал бы тогда весь нехитрый запас,
все поджилки, что звонкими были.

Ты ли это, улыбка — на чистом лице,
это кружево взгляда и дыма —
почему я в тебе узнаю, как в конце,
неподвластное времени имя?

В этой точной фигурке, в ушибе житья,
в умной грусти, какую не вправить,
проступает прильнувшая пропасть моя,
прихотливая грубая память.

И за древнюю правду — расти напоказ —
что едва ли уже поправимо —
все игрушки тебе я принёс бы сейчас
из кромешного взрослого Рима...

* * *

Пристывая душою к падучей молве,
у дорог, не тобой проторённых,
ты учился дрожанию в высокой траве
и гудению в спиленных кронах.

Обезумевший отрок на скользком ноже,
позвочник стыда и насилья,
у которого из-под лопаток уже
пробивались тревожные крылья,

у последнего неба, чьи ватные льды,
а работные выси — за гранью,
ты просил в оправдание яркой беды
и рукою махал на прощанье.

Босиком — там, где бездна на звёздном меху,
ты ходил, не боясь оброниться,
по случайному воздуху, слову, стиху —
сухопутная гордая птица.

Ты звучал, отражался и плыл наобум,
хлебосольную гибель не слыша,
но запомнил пространство, движение, шум
даже лучше и крепче, и выше.

Говорилось такое тобой наотрез
наподобие резвой картечи,
что, казалось, не выдержат вида небес
угловатые детские плечи,

но ты высмотрел всё в той степи ледяной —
все нездешние области эти,
чтоб прорваться в побеге обычной весной
и однажды родиться на свете.

* * *

В тещу-рощу за охрой-ольхою
человек с чётким именем Дым,
поперхнувшись застольем, уходит.
Ничего не случается с ним.

Потому что от роздыхов пьяных
он пристыл и звучать не звучит —
только зубы да руки в карманах,
да ногами о чём-то сучит.

И, считай, дует ветер да воет
в спину, в душу, в колеблемый свет —
хоть и с ветром, с просохшей листвою
ничего не случается. Нет.

Вместе с этим смешным человеком,
что уже заряжается снегом,
гончий ветер собачлив, игрив.
Вместе дуют — на дикий мотив.

Ну, конечно, прощенье обиды
у него за подкладкой в плаще,
и пускай от того, что простит он,
ничего не случится вообще,

сделать вид ему будет не стыдно:
не за этим он где-то среди нас —
не случается, если обидно,
не случается прямо сейчас...

Ни с плеча — весь в горячке — не рубит,
не разводит — гремучую спесь,
но уходит — затем что он любит,
просто любит оставшихся здесь.

МОМЕНТ НАСТОЯЩЕЙ ПТИЦЫ

Они зашли с прогулки. Он грустил, потупившись, в углу привычной клетки: не бился, не чирикал — просто молча сидел, прикрыв глаза, чуть завалившись на бок и не старался шевелиться. Хозяева-то — мама, папа, дочь — давно подозревать его устали, хоть знали: был он стар, тяжеловато уже летал по комнате и часто, полёт не дотянув до верхотуры, садился на ковёр да отдыхал. Свисала грудка, был слоистым клюв, усталым — птичий лоск, но всё ж любили его, как к своему к нему привыкнув, по имени учили, говорили про то, про сё и спрашивали даже о том, о чём ни в жизнь бы не представил растрёпанный волнистый попугай. Ещё полдня тому, перед уходом хозяев, он садился им на руку, смотрелся в долгом зеркале от шкафа, пытался клюнуть, что-то верещал и зорко чистил перья, провожая; когда ж они вернулись, увидали — помёт его стал чёрен, лапы серы. Как если бы сломалось что-то в нём, хозяев угадав, он встать пытался, шатался, шаркал, действовал крылами, наверх дрожащей клетки взгромоздился и так, едва не падая, сидел. В его глазах слипались сон и ужас. О чём он знал, смекнул ли, что такое на свете происходит и что дальше случится с ним в последний зимний вечер —

измерить невозможно, но пока, подумав, папа взялся вызвать помощь: звонил, смотрел советы в интернете, готовился с утра к ветеринару, рассчитывал в аптеку, увещал... Тихонько дочь в ладони колыбельной хранила копошащееся тельце, слезу держала, гладила, шептала, надеялась на сказку невдомёк. Из всех троих он был намного ближе приучен к ней, давал себя потрогать, хоть редко и ворчал ещё для вида, но, видимо, ценил то, как она его дневную клетку прибирала, всыпала корма, чуяла, учила, и главное — легко переводила язык тревожный с птичьего на детский... Уж время было к полночи, и мама сказала ей: «Поспи, а я побуду с ним рядом, послежу, покараулю». И дочь легла, и верила во сне. Что снилось ей, что виделось тревожно — прошло едва ли больше получаса, как мама разбудила, и по виду её всё стало просто и понятно, однако же ещё о том, что умер, она сказала словно бы с досадой, хотя не понимала, как тут думать, где чувствовать, чем смерть заговорить... А впрочем, обе плакали, роняя солёный жемчуг и смотря на тельце, оставленное, с мутным страшным взором, что знал теперь о свете нечто больше, о поздней пустоте, о вечной правде, но тайну, как и принято, сокрыл... Проникла полночь. На полу валялась с отверстиями для воздуха коробка, в которой собирались попугая нести к ветеринару поутру.

Средь снега, на неприбранном балконе,
стоял, куря о чём-то отрешённо,
молчащий папа и смотрел на звёзды,
а рядом, в припорошенном углу,
в коробочке, завёрнуто в газету
с парадом, некрологами, статьями,
лежало тельце, что, по крайней мере,
уже теперь не чувствовало боли...

Потом они нашли другую птицу,
похожую на прежнюю, но всё же
невыгодную в качестве замены
того, кто прожил с ними девять лет,
того, кто пережил трёх попугаев,
не вызвавших такого огорченья,
того, кто понимал их и надолго
по-своему запомнил про себя.
Поскольку очень трудно быть готовым
к решению, что маленькая птица
так может быть похожа на родное,
на облако, на смерть, на человека.

* * *

Как впущу я по новой
в свой ореховый ум
этот трепет зубовный,
этот сон наобум,
то, о чём не поверишь,
не вдохнёшь про запас,
всё, что спелось теперь уж,
всё, что здесь и сейчас...

За поджилками спеха
на волне площадей —
многоглазое эхо
оглашённых людей,
припасённые крики,
заводная грызня,
расхожденья и стыки
сочинённого дня.

Как всегда будет это,
так наука — певцу,
будто кто-то из Фета
зачитал на плацу,
и тяжёлый тифозный
этим вызванный стыд
набивается в воздух
и легко говорит,

и разносится слово
до самих рубежей,
перезвонов еловых
и седьмых этажей,
там, где в честной заботе
время просит истечь —
за дыханье на взлёте,
за прожитую речь.

* * *

Это было б, наверно, под камень и вспых,
будто взял и нашёл после резкой потери,
что-то вроде укуса в запальчивый дых
из грозою нагретого праздника-зверя.

Это жало в арбузную мякоть себя
самого,
но не чувствуешь боли и жести,
но, напротив, крадёшь и желаешь его,
даже если траве не расти, даже если...

В опрокинутой чаше звезда-маховик,
расплескалось питьё среди планет незапетых,
и подвис ты в убранстве — навзрыд и привык —
в нищей бездне, как в теле, и тратишь всё это...

Это семя из всполоха, песня-резня,
эта завязь-листва, добрый выпавший пепел,
это честно и значит: для ночи — ни дня
уж не будет в довольствии, так, чтоб не трепет.

Прикоснувшись, ожёгшись, что ласки не снестъ,
пожинаешь, как вот она — странность и внешность —
неподкупная, дикая, млечная жечь,
на прострел и на радость тяжёлая нежность.

И, насквозь обойдённый подстуженным сном,
каждоднями рутинными или своими,
каждый роздых — о трепетном и об одном —
не молчишь, повторяя какое-то имя.

Как смогло оно так о себе заповесть,
предназначить, как выпрямит дальше кривая, —
ты не знаешь, но в этом, конечно же, весь,
в том, кого вспоминаешь, едва называя...

* * *

Вишенка-тишенка в сердце-внутри,
гончая ниточка крови-зари,
бьющейся рыбой в хвостатую высь —
вишенка-вишенка, не надорвись...

Средь мозготычин и срочных кручин
всё бы тебе только чуют в ночи,
звонко тончать да крепчать поутру
за добровольную рожь на ветру.

Как я искручен тобою всегда
за многозвучное чувство стыда,
за попадающий гул по хребту,
самую дрожь на неловком свету...

Это мерцанье, звененье взахлёб —
где бы, когда бы, чего бы ещё б,
знать бы себе да не сбыться в пути —
вишенка-слышенка, слышишь, прости.

В зверской молве и в людской ворошбе
странно и больно и слышно тебе,
как неразлучны, верны и в крови
дело-покойник и слово «живи».

Тлеющий снег над дорогой-зимой,
смерть, искажённая в бездне прямой,
воздух, надрывный до света вдали,
зелень остывшая из-под земли...

Всё это с нами, как будто бы вдруг
с неба прищуренный выпалить звук,
песня на взводе и вот потому,
вишенка, ты отвечаешь ему...

Об авторе

Евгений Морозов — поэт. Родился в Нижнекамске. Окончил Елабужский государственный педагогический институт. Публикации: журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Стороны Света», «Футурум АРТ», «Артикль», «Новая реальность», «Белый ворон», «Среда», газеты «Поэтоград», «Литературные известия», порталы «Сетевая словесность», «Textura.club». Автор двух книг стихов.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Катя Капович 3

I

Vita. Безгна с гождём и кровом

«Если снова — креплёные звёзды, взлохмаченный ком...» . . .	8
Облако. Смерть. Человек.	9
«Морозный, трезвый, горный...»	11
«Спешный космос, собранный тобой...»	13
О том, что бывает с лицами	15
«За рассудок непониманья...»	17
Звук	18
«Только рассядется всё по-домашнему...»	19
«Оговорчивый текст молитвы...»	20
«Ты, народ, что всё пришлый кряжистый...»	21
A Visitor	22
«В утлой комнатке без обоев...»	23
«Не за «р» с её рапсодией...»	24
«Я зашёл к человеку, встал в дверях...»	25
О том, как за горизонтом не больно	26
«Сиротливый нахлебник, единственный сын...»	28
Человек с головою на коленях	29
«У звезды в реке, у стыда в груди...»	30
«В фибрах ныла, песню танцевала...»	31
«Как пропущенный через время...»	33
Лес на высоком холме	34

II

Mortem. В почву вбитая кость

«Я вернулся домой, когда стемнело...»	36
«Ещё одна запыхавшаяся мысль...»	37
Реки в глазах	39

«Та дорога с гулким небом...»	41
Провал	42
«У тебя дитя. Да и ты — дитя...»	43
Вкус молока	45
«В закоулках дна, где лишь Бога звать...»	46
Уносимый свет	
I. «У отца Варсонофия сто гигабайт архангелов...»	47
II. «Ты, мой ранний малиновый друг...»	49
«Надо жадного слова «я живу»...»	50
Рыбка	51
«Как обугленные нищие...»	53
«Так в разрытом небе, у гнева и дня внутри...»	55
«Обратишься назад — и получишь черничное дуло...»	56
Конец охоты	57
«Господи, как не внове...»	59
Расписные часы	61
«То ли дождь, то ли снег — нечто среднее...»	62
«Когда говорили все тысячи строк...»	64

III

Амор. Полынь и яблочко

«Словно после дороги, шмыгнувший домой...»	66
Аракис	
I. «Губы твои, словно песню Христову...»	67
II. «На краю слова...»	68
III. «Тремя терпеливыми переулками...»	70
«Стол да шкаф с прописной нетленкой...»	72
«Ни полдня да и ни часа...»	73
«Как в казённом доме электрочайник...»	74
Вечерний трамвай	75
Телá без испуга	77
«Так из снега, полёгшего навзничь, — остывшая ось...»	79
Оранжевый работник	80
«В момент житья-битья...»	82
Где-то здесь сотворён человек	84
«О, как жгуче в гурьбе-природе...»	86
«Перемётное кочевье...»	87
«Плоть моя, привычка сына...»	89

Письма родителям	
I. Ты придумала много тёплых имён	90
II. Отец говорил	92
«Сквозь поспешную муть и лесные черты...»	95
«Пристывая душою к падучей молве...»	96
«В тещу-рощу за охрой-ольхою...»	97
Момент настоящей птицы	98
«Как впущу я по новой...»	101
«Это было б, наверно, под камень и вспых...»	102
«Вишенка-тишенка в сердце-внутри...»	103

Литературно-художественное издание

Морозов Евгений Александрович

О ТОМ, КАК ТЫ БЫЛА ВСЕГДА

стихотворения

Технический редактор *Владимир Коркунов*
Редактура и корректура автора



Бумага офсетная
Гарнитура CharterC
Тираж 200 экз.
Подписано в печать 01.11.2018

«ЛитГОСТ»
vl.korkunov@gmail.com

ОАО «ТОТ» Кимрская типография
171506, Тверская обл., г. Кимры,
ул. Володарского, 12